

# HEMB

10k Hz

8k Hz

4k Hz

2k Hz

1k Hz

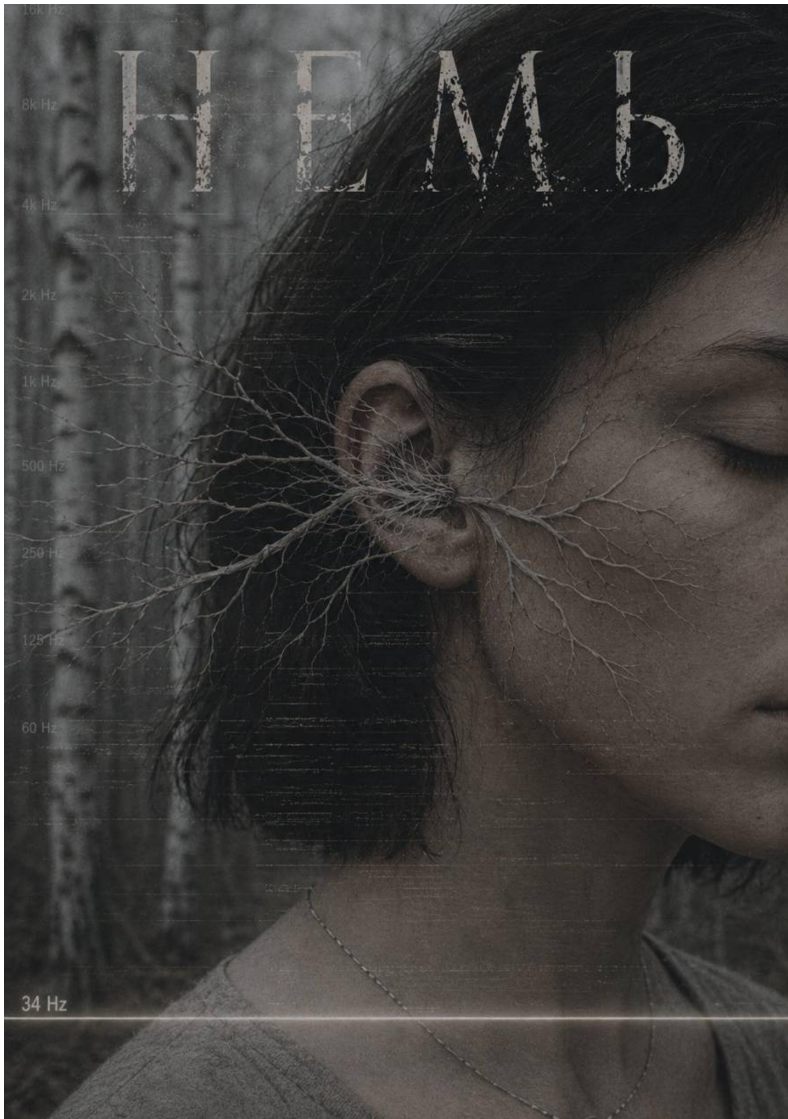
500 Hz

250 Hz

125 Hz

60 Hz

34 Hz



# Monsieur Пя

## НЕМЬ. Тот, кто ест голоса

*<https://litres.ru/74289532>*

*SelfPub; 2026*

### Аннотация

Аня приезжает в мамин дом на тридцатый день после похорон: разобрать вещи, закрыть счета, продать. Дом стоит на поляне в двенадцати километрах от деревни, и вокруг него на четыре километра не поют птицы.

В первую же ночь она слышит голос матери. Не из-за стены. В собственной челюсти.

Аня пятнадцать лет работает звукорежиссёром и умеет одно: разбирать звук на части. Она находит в кладовке тридцать две тетради, которые мать вела двадцать девять лет, и по ним выводит правила.

Звук будит. Тепло находит. Мерное оно не слышит, оно слышит сбой.

Значит, нельзя топить печь. Нельзя греться. Нельзя бояться, потому что от страха сбивается дыхание.

И нельзя отзываться. За каждое слово в темноту оно забирает слух: сначала птиц, потом женские голоса, потом согласные.

Мать платила по этому счёту тридцать лет. Аня хочет знать, за что.

Ответ лежит в подвале, и он хуже, чем всё, что она успела придумать.

# Содержание

|         |    |
|---------|----|
| Глава 1 | 5  |
| Глава 2 | 22 |
| Глава 3 | 41 |

# **Monsieur Пя**

## **НЕМЬ. Тот, кто ест голоса**

### **Глава 1**

Руки на руле дрожали, и первые пару километров я валила это на дорогу.

Потом поняла, что дорога тут ни при чём. Так трясёт, когда в миксе пропадает дорожка. Три секунды слушаешь пустоту на месте вокала и только после этого соображаешь нажать стоп.

Руки десять и два, как учил инструктор, которого мне оплатила мама. Я сдала с третьего раза, и она сказала: «Анечка, ты же умная девочка, просто не слушаешь».

Я тогда не послушала. И сейчас не слушаю. И еду в её дом. Мотор гудел на своих низких. Гравий шуршал под днищем. Ветер посвистывал в щели у стекла. Всё работало, всё было на местах, и поверх этого лежала дыра. Она сидела в том диапазоне, где я пятнадцать лет слышу живое, и меня от неё мутило, как мутит в лифте, когда трос идёт рывками.

Я убавила магнитулу. Потом выключила совсем.

Стало хуже. В тишине салона я наконец расслышала, чего не хватает снаружи.

Птиц.

Ни одной. Июнь, три часа дня, подмосковный лес, где соловей орёт так, что его слышно через стену аппаратной. Кто-то взял и выключил всё живое одной кнопкой. Оставил листву, и та шелестела ватно, глухо, с заткнутыми ушами.

Телефон лежал на пассажирском. Одна палка сети.

Я смотрела на эту палку и думала, что звонить надо сейчас. В доме связи не будет. Мама ходила за четыре километра в деревню и говорила оттуда: «Анечка, у меня тут тишина, мне хорошо».

Я говорила: мам, может, приедешь.

Она говорила: мне тут хорошо.

Это было три года назад. Потом звонки стали короче. Потом я перестала звонить. Потом позвонил Лёша и сказал: Ань, мама.

Два гудка. Три.

– Ань. Ты где?

Он говорил на одной ноте, без единого захода вверх. Так держат себя за горло изнутри, чтобы не заорать. Я этот тон знаю, сама им пользуюсь с заказчиками на четвёртой переделке.

– Подъезжаю. Дом вижу. Леш, у тебя сеть есть? Я хочу, чтобы ты был на связи, пока я там.

Пауза. Слышно, как он дышит. На вдохе свист. Бросил три года назад, свист остался, и каждый раз мне хочется сказать ему что-нибудь тёплое. Мы с Лёшей не из тех, кто говорит тёплое.

– Ань, послушай меня. Не ходи в подвал.

– Я приехала разобрать вещи и закрыть счета. Мне подвал не нужен.

– И не отзывайся.

Я сбавила. Гравий захрустел крупнее, и от этого хруста мне стало легче. Звук есть. Воздух работает. Значит, с птицами показалось.

– На что не отзываться?

Он молчал. Я считала секунды, привычка. В паузе живёт всё, чего человек не сказал, и три секунды это уже решение молчать дальше.

– Если услышишь голос. Мамин. Не отвечай ему. Не разговаривай. Не отзывайся.

За стеклом мелькнула поляна, и на поляне дом. Одноэтажный, бревенчатый, тёмная крыша. Я увидела его так, как вижу всё: сперва звук, потом форму.

Дом не издавал ничего. Ни гула, ни скрипа, ни того дыхания, какое есть у любого жилого дома с работающим холодильником и половицами под ногами. Он стоял как выключенный монитор. Есть, и внутри ничего не работает.

– Леш. Мама умерла месяц назад.

– Знаю.

– Мы её похоронили. Ты был. Мы вместе выбирали гроб, и ты сказал, что ручки пластиковые, а мама бы хотела деревянные. Я сказала, что маме всё равно. Ты на меня так посмотрел, будто я её второй раз убила.

– Знаю, Ань.

Он замолчал, и я услышала, как он сглотнул.

– У неё лицо было, – сказал он. – Ты не видела, тебе закрытый показывали. А я видел, когда приехал. У неё лицо было как у человека, который очень долго молчал и наконец перестал.

Я остановилась метрах в двадцати от крыльца и не стала глушить мотор. Он был единственное, что звучало на всю поляну.

– Сороковины в воскресенье, – сказала я. – Ты приедешь? Он не ответил.

– Ясно. Значит, помяну одна.

– Ань.

– Что.

– Ты только успевай до воскресенья. – Он выговорил это одним куском, быстро, чтобы не сорваться на середине. – Разбери, что надо, забери документы и уезжай. До воскресенья. Слышишь?

– Почему до воскресенья?

– Просто уезжай.

– Леш, ты сейчас издеваешься? Ты мне звонишь второй раз за месяц и оба раза с загадками.

– Продай дом, Ань. Разбери вещи, закрой счета, продай и не оглядывайся. Я туда не поеду. Не могу. Мне бабушка рассказывала.

– Что рассказывала?

– Про Мёртвую поляну.

– Леш.

– Не ходи в подвал. Не отзывайся.

Короткие гудки.

Про того, кто ест голоса.

Он не договорил, и мне не нужно было.

Бабушка у нас была одна на двоих, и не мамина: мамина умерла, когда мне было три, я её не помню совсем. Осталась баба Нина, отцова мать. Она прожила до две тысячи одиннадцатого, мы у неё оставались на выходные всё детство, и рассказывала нам она.

Она была из здешних мест, из-под Хвойного, и знала всё, что тут знают.

Мне было девять. Она говорила негромко, без всякого выражения, тем голосом, каким читают прогноз погоды: есть такое место, где не поют птицы, и там живёт тот, кто ест голоса, и кто ему отзовётся, того он заберёт. Потом укрывала меня и уходила, и я лежала и слушала, как в трубах шумит вода, и была счастлива, что вода шумит.

Я держала телефон у уха ещё секунд десять и слушала тишину в трубке. Тишина была густая, как воздух перед грозой, когда дышится тяжело и волоски на руках встают без всякого ветра.

Экран погас. Значок сети мигнул и пропал.

Я заглушила мотор.

Теперь стало по-настоящему тихо.

\* \* \*

Воздух был прохладнее, чем положено июню, градуса на три. И он ничем не пах. Ни лесом, ни травой, ни прелью. Так пахнет в комнате, откуда вынесли мебель и вымыли пол хлоркой. Чисто и мертво.

Кроссовки шуршали по траве. Я слышала это шуршание, слышала свой шаг, слышала, как дышу, и держалась за эти три звука, как держатся за поручень.

Дверь стояла приоткрытая на ладонь, и из щели несло подполом. Холод шёл снизу, от земли.

Я поднялась на крыльцо и чуть не наступила на тапочку.

Одна. Тридцать восьмой, левая, клетчатая фланель, на выцветшем коврикe.

Правой не было.

У меня свело желудок. Мама всегда носила обе. Мама даже в больницу брала обе и говорила: «Анечка, а вдруг я встану».

Не встала.

Я вошла.

В сенях пахло пылью и старым деревом. Дальше кухня, из кухни коридор, из коридора её комната. Весь дом на четыре шага.

На кухне стол был накрыт на одного.

Я обошла его кругом. Тарелка чистая, посередине. Вилка лежала боком, сдвинутая. Так её отодвигают, когда поели и встали.

Стакан стоял на скатерти, и под ним расползлось пятно с высохшим ободком по краю.

Я тронула стакан пальцем и отдёрнула руку.

Ледяной. Как из морозилки.

Я вытерла палец о джинсы, хотя вытирать было нечего.

Подняла глаза на часы. Без десяти девять, маятник не качался.

\* \* \*

Дальше я сделала то, что делаю всегда и в любом помещении, куда захожу впервые.

Я хлопнула в ладоши.

Это первое, чему учат. Хлопок даёт короткий широкополосный импульс, комната отвечает своим хвостом, и по хвосту слышно всё: объём, высоту потолка, что на стенах, есть ли параллельные плоскости, будет ли тут порхающее эхо. Опытному человеку хватает одного хлопка, чтобы понять, можно ли в этой комнате писать.

Я хлопаю в лифтах, в подъездах, в чужих квартирах и в переговорных. Меня за это не любят.

\* \* \*

Кухня ответила неправильно.

Шесть на три с половиной, потолок два семьдесят, бревно, крашенный пол, печь в углу, окно с одинарным стеклом.

Такая комната должна дать сухой короткий хвост с горбом на низкой середине и цокотом от параллельных стен.

Она дала хвост от помещения вдвое меньше.

\* \* \*

Я хлопнула ещё раз.

То же самое.

Я прошла в комнату матери и хлопнула там.

Комната была меньше кухни, а ответила длиннее.

\* \* \*

Я стояла в коридоре и минуты три соображала.

Хвост зависит от объёма и от того, чем облицованы поверхности. Мягкое съедает, твёрдое возвращает. Если комната отвечает как меньшая, значит, часть звука куда-то ушла и не вернулась.

Ушла она вниз.

Под кухней что-то съедало мой хлопок.

\* \* \*

Я тогда объяснила это себе тем, что под кухней подпол, и он забит тряпьем, и всё сходится.

Это было разумно. Это было даже почти правдой.

Потом я пошла в сени и хлопнула там, у самого люка, и села на пол.

\* \* \*

Сени ответили ничем.

Я слышала сам хлопок, ладонь о ладонь, и на этом всё кончилось.

Ни хвоста, ни отражения от стены в полутора метрах, ни от потолка над головой. Как в заглушённой камере, куда я студенткой ходила на экскурсию и откуда вышла через во-

семь минут, потому что затошнило.

Заглушённую камеру строят год. Клинья из стекловаты в полметра, развязанный пол, двойные двери.

Тут были доски, половик и старая вешалка.

\* \* \*

Я хлопала в сенях, наверное, раз тридцать.

Я меняла место. Я приседала и вставала. Я хлопала над головой и у самого пола.

Один раз я хлопнула, стоя ногами на люке, и вот тогда мне стало нехорошо по-настоящему, потому что доски под подошвами дрогнули, а звука не было вообще: ни хлопка, ни отзвука, ничего.

Ладони жгло. Я их отхлопала до красноты и не слышала последних десяти.

\* \* \*

Я вышла на крыльцо и хлопнула снаружи.

Хлопок был. Нормальный, летний, с коротким отскоком от стены дома.

Я сделала шаг обратно в сени и хлопнула там.

Ничего.

Граница проходила по порогу.

Холодильник в углу стоял с распахнутой дверцей. Я ждала, что компрессор щёлкнет и загудит, как гудит в любой кухне, где есть еда и свет и кто-то живёт.

Он не щёлкнул.

Я стояла посреди её кухни и слушала. Слушать было нече-

го. Ни гула, ни тиканья. Даже кран не капал.

– Мам, – сказала я. – Ну и тишина у тебя тут. Ты этого хотела?

Голос вышел из горла. Я почувствовала вибрацию в груди, в связках, в нёбе.

И не услышала себя.

Ни слова. Ни шороха. Я стояла с открытым ртом посреди кухни, воздух проходил, связки работали, а звука не было вовсе.

– Мам.

Ничего.

– Мама!

Я заорала это в потолок. Горло драло. В ушах не появилось даже того давления, которое всегда бывает от собственного крика.

Тогда я схватила стакан и швырнула его в стену.

Он ударился в бревно и разлетелся. Осколки ушли веером по полу, один отскочил от плинтуса и завертелся на месте.

Ни от удара, ни от осколков.

Голова пошла кругом. Я схватилась за спинку стула. Стул скрипнул ножками по половице, и скрип я слышала. Тихий, короткий, на двух килогерцах.

Я села и потрогала горло пальцами. Горло было тёплое и работало.

Скрип был. Крика не было.

Я полезла в карман куртки. Пальцы обхватили метроном.

Латунь, грани, колесико. Я кручу это колесико лет с восьми, и мама каждый раз говорила «не трогай, сломаешь». Не сломала за пятнадцать лет.

Она привозила его мне в Москву вместе с банками и носками, ставила на стол и говорила одно и то же:

– Чтобы ты знала, где темп, Аня. В жизни тоже есть темп. Потом уходила, не дожидаясь ответа.

Металл охлаждал подушечки. В груди отпустило на палец, и я смогла вдохнуть глубже.

«Ты приехала разобрать вещи. Закрывать счета. Уехать до воскресенья».

Заводить не стала. Просто держала.

\* \* \*

В коридоре на тумбочке стояла фотография.

Мама на фоне этого самого дома. Седая, шестьдесят лет, щурится на солнце. И улыбается так, как мне не улыбалась ни разу.

Рядом лежала вторая, поменьше. Там мне лет пять, я сижу у неё на коленях, у неё тёмные волосы, и она смеётся.

Я не помню её смеха. За тридцать четыре года ни одного.

В висках заломило.

Я положила маленькую фотографию лицом вниз и пошла в её комнату.

Кровать заправлена. Одеяло подоткнуто по краям, по-больничному. Тумбочка пустая, только круглый след в пыли, сантиметров пятнадцать поперёк.

Я легла не раздеваясь. Кроссовки скинула на пол, куртку оставила на себе, метроном в кармане, телефон рядом экраном вниз.

Семьдесят три процента. Сети нет. Хватит на ночь.

Свет выключать не стала.

Лежала и смотрела в потолок. Белёный, в трещинах, и трещины шли от люстры к углам, как корни. За окном темнело, и я не заметила, когда именно. Заката не было. Сумерек тоже. Сперва серо, потом черно.

Тишина в комнате загустела, и на перепонки надавило изнутри, как в самолёте на взлёте, когда не успел сглотнуть. Я сглотнула. Не прошло. Зевнула до хруста в челюсти, широко, некрасиво. Тоже не прошло. Давление держалось без толчков. Меня опускали на глубину и делали это медленно, чтобы я успела привыкнуть.

Я закрыла глаза и досчитала до пяти.

И услышала.

\* \* \*

Голос пришёл снизу, из-под коренных, из кости. Пошёл вверх по скулам, по вискам. Я почувствовала его языком раньше, чем поняла, что слышу.

У меня в двадцать шесть расшаталась пломба. Я две недели водила по ней языком и не могла перестать. Она была чужая и моя одновременно, и я ковыряла её, пока не расковыряла до нерва.

Между ртом и ухом всегда есть метры. Их можно изме-

ритель, записать, положить на дорожку.

Здесь метров не было. Здесь нечему было нести.

Голос сидел у меня в скулах и вибрировал.

Доченька.

Одно слово, и я узнала его по форме. Смысл дошёл вторым. Форма, с которой она говорила «Анечка, поешь» и «Анечка, шапку надень». Тёплая, чуть хриплая на низах, как после чая с лимоном. И удлинение на последнем слоге, только её, я передразнивала его в четырнадцать и меня выворачивало от него в восемнадцать. Три года не слышала. Теперь оно сидело у меня в челюсти и тянуло вверх, к глазам.

Мне холодно. Иди ко мне.

Я стиснула зубы так, что заскрипело в висках.

Голос не пропал и не стал тише. Он стоял без пауз, и каждый его заход я принимала нижней челюстью.

Ногти вошли в кожу. Ладони саднило. Это было моё.

Анечка. Не молчи. Мне так холодно.

Вибрация усилилась. Я почувствовала её нёбом за верхними зубами, там, где десна переходит в твёрдое.

Из глаз потекло. От давления, как течёт, когда давят на глазное яблоко. В животе при этом было холодно и очень спокойно.

Слёзы уходили по вискам в волосы. Я их не вытирала.

Господи, как я хотела ответить.

Три года не звонила. Три года она говорила «мне тут хорошо», а я говорила «хорошо, мам» и вешала трубку. Теперь

она в земле, а голос её у меня в скулах и зовёт.

Я молчала.

\* \* \*

Грудь стало давить изнутри. На руках встали волоски.

Я открыла глаза.

Стена в метре от кровати. Белёная. Трещина, которую я видела днём.

Трещина стала шире. На палец. На два.

Из неё росло бледное и тонкое.

Оно вибрировало. Дрожь я видела глазами и чувствовала зубами одновременно, и от этого совпадения желудок подтянуло к горлу.

Отросток шёл из трещины по стене вверх, к потолку, потом вниз.

Ко мне.

Я вжалась в матрас и задержала воздух в груди. Тело сообразило раньше головы: двигаться нельзя. Оно ищет того, кто отзовётся.

«Не шевелись. Оно на звук».

Отросток остановился в сантиметре от моего носа.

Вблизи он был как связка. Бледный, влажный, с продольными волокнами по всей длине, и в двух местах волокна перекручивались, затянутые не туда. По нему шла мелкая частая рябь. Так рябит шнур, держащий ноту. Ноты я не слышала. На конце сидело утолщение с ноготь мизинца, тонкое до просвета, и внутри неё тоже двигалось, слишком мелко,

чтобы разглядеть.

Мембрана дрожала в сантиметре от моего лица и ждала.

Все зубы заныли разом, до корней.

Я лежала и не дышала, и в голове у меня было пусто и ясно, как бывает пусто в аппаратной, когда все ушли, а ты остался сводить.

Отросток втянулся в трещину.

Стена стала белой.

Я слушала своё сердце в горле и в запястьях. В стуке не было голоса. От этого мне стало хуже, чем было при нём.

\* \* \*

Я встала. Ноги на пол. Линолеум холодный, холод шёл снизу, из-под досок.

Про подвал я не думала. Я думала про дверь.

Пошла босиком через коридор в сени. Линолеум лип к подошвам, и я слышала своё шлёпанье, и держалась за него.

Входная дверь. Та, что была приоткрыта днём на ладонь.

Я потянула на себя. Не пошла.

Толкнула. Не пошла.

Дёрнула ручку. Ручка провернулась вхолостую, дверь стояла. Не запертая. Не заклинившая. Вросшая.

Я ударила в неё кулаком.

Вибрация прошла по кости до локтя. Я почувствовала удар плечом, грудью, зубами.

Тихо.

Ударила ещё раз, всем весом. Дверь не издала ни стука, ни

скрипа, ни низкого гула, какой издаёт любое дерево, когда по нему бьют.

Я была в дверь собственного дома и не слышала себя.

Так выключают микрофон. Кнопка нажата, ты говоришь, тебя нет.

Голова поплыла. Я упёрлась лбом в косяк и постояла так.

Потом пошла на кухню, к окну.

Наступила на осколок.

Он вошёл в пятку под самой подушечкой. Я села на пол там же, где стояла, и вытащила его двумя пальцами. Стекло длинное, миллиметров восемь. Крови вышло много и сразу, тёмной в жёлтом свете лампочки.

Вот тогда я и заплакала. Не от голоса и не от двери. Я сама разбила этот стакан час назад, потому что не смогла удержать себя в руках, и теперь сидела в собственных осколках.

Я зажимала пятку ладонью и трясла головой, и слёзы капали мне на джинсы, и ни одного своего всхлипа я не услышала.

Потом встала на пятку и пошла к окну, оставляя следы.

Приложила ладонь к стеклу. Холодное. Тронула задвижку, ржавую, и задвижка скрипнула, и я услышала этот скрип.

На одну секунду мне стало легче.

Я ударила ладонью по стеклу. Стекло завибрировало под рукой, вибрация ушла в запястье и в кончики пальцев.

Ничего.

Ударила костяшками, сильнее. Кость отдала в локоть.

Стекло целое. Я была в то, что не может разбиться, и делала это беззвучно.

За окном стояла чернота. У ночи есть глубина, в ней различимы деревья. Здесь кто-то выключил небо и забыл включить обратно.

Я сползла по стене на пол, у самой двери в сени, и обхватила колени. Пятка пульсировала и марала линолеум.

Метроном давил в бок.

Я достала его и положила на ладонь. Смотрела на колесико.

Шестьдесят ударов в минуту. Сердце в покое.

Моё сердце в покое не было. Метроном об этом не знал.

Я завела.

Первый щелчок пришёл на самой границе слышимости. Второй пришёл через секунду.

До воскресенья оставалось шесть дней.

Я считала щелчки и ждала утра, которого не будет.

## Глава 2

Утро не пришло. Пришло серое.

Я поняла это по тому, что чернота за окном посветлела на один тон, и от этого одного тона мне стало хуже. Чернота хотя бы не врала. Серое притворялось днём и не давало ничего.

Я спала сидя, привалившись к косяку. Колени хрустнули, спина не разогнулась с первого раза, и я постояла согнутая, упираясь ладонями в бёдра.

Лампочка горела с ночи. При сером свете она выглядела жалко, как выглядит любая лампочка, забытая до утра.

Пятка присохла к линолеуму.

Я отодрала её и увидела на полу тёмный овал в ладонь величиной. От него шли следы, штук пять, всё бледнее к раковине. Порез затянулся коркой, края разошлись белым.

Осколки лежали там же, где легли ночью. Веером от плинтуса.

Я нашла под мойкой веник и совок и собрала их. Веник шоркал по линолеуму, и шорох я слышала, тихий, шершавый.

Высыпала стекло в ведро. Стекло посыпалось в ведро и звякнуло, и звяканье я тоже услышала, коротко, на излёте.

На скатерти осталось пятно с высохшим ободком. Стакана над ним больше не было, и от этого пятно выглядело хуже, чем накануне.

Я открыла кран.

Вода пошла сразу, тугая, и загудела в трубе. Я подставила ладони и пила прямо из-под крана, и вода была ледяная, до зубной боли.

От боли в зубах я вспомнила ночь.

Зубы заныли сильнее.

Телефон лежал на полу у косяка. Я подняла его. Шестьдесят один процент. Значок сети перечёркнут.

Вторник. До воскресенья пять дней.

Я села за стол, на её стул, где в клеёнке продавлена вмятина от тридцати лет, и стала думать, что на поминки нужны блины и кутья, что до магазина в деревне четыре километра и что дверь не открывается.

Мысль дошла до двери и встала.

\* \* \*

Я пошла в сени проверить её при свете.

Ночью я была в неё вслепую, в одной лампочке, на голом ужасе. Днём надо было посмотреть.

Дверь стояла в косяке как влитая. Я присела и провела пальцем по притвору снизу доверху. Щель шла миллиметра в полтора по всей высоте, без перекоса. Дерево не разбухло, полотно не повело, петли на месте, и все три смазаны, мать за домом следила.

Я нажала на ручку. Язычок вышел из планки, я его видела и чувствовала пальцем.

Потянула. Дверь не пошла.

Я взялась двумя руками, упёрлась ногой в косяк и тянула, пока не заломило поясницу. Полотно не дало ни миллиметра. Оно не дрожало, не пружинило, не отыгрывало назад. Так не ведёт себя дерево. Оно всегда играет.

Пятнадцать лет меня учили, что у любого явления есть источник. Заедает дверь, ищи, где трёт. Гудит канал, ищи, где земля. Здесь искать было нечего. Механизма не было вообще.

Я бросила дверь и пошла по окнам.

Их в доме шесть. Я проверила все. Задвижки скрипели, шпингалеты ходили, рамы держались в четвертях мёртво. Стекло под ладонью отдавало вибрацию и не отдавало звука.

Последним было кухонное, у стола.

Я приложилась к нему лбом, чтобы посмотреть вбок, на поляну.

Машина стояла там, где я её оставила, метрах в двадцати от крыльца.

Водительская дверь была открыта настежь.

Я закрывала её. Я помню, как закрывала, потому что нажала брелок и услышала писк, короткий, двойной, и этот писк был последним звуком, который до меня дошёл снаружи.

Теперь дверь стояла нараспашку, откинута до упора.

В салоне не горел плафон.

Он загорается всегда. Даже на севшем аккумуляторе, хотя бы вполнекала. Дверь была открыта, и плафон не горел, и

приборка не горела, и на панели не мигал ни один диод.

Я стояла лбом в стекло и смотрела на свою машину минута три.

Потом отошла.

\* \* \*

В телефоне были голосовые от матери.

Три штуки. Последние. Я знала про них с похорон, когда Лёша сказал: «Ань, у тебя же голосовые от неё остались». Я сказала «потом».

Месяц этого «потом» не наступало.

Я открыла мессенджер. Три полоски. Первая два месяца назад, сорок три секунды. Вторая месяц и неделя, минута двенадцать. Третья шесть дней назад, девять секунд.

Шесть дней. За шесть дней до смерти.

Палец лежал на экране. Стекло грелось под подушечкой, тёплое, единственное тёплое в этом доме.

Я нажала первую.

Голос матери заполнил кухню, и я дёрнулась всем телом, хотя знала, что сейчас будет.

Он был живой. Записанный на микрофон телефона, с шорохом, какой бывает, когда трубку держат слишком близко ко рту. И с тем удлинением на последнем слове.

«Анечка, я тут подумала, может, ты приедешь на выходные, я бы пирог испекла, ты же любишь с яблоками. Я тут яблок набрала, в саду, мелкие, но сладкие. И вот я подумала, может, приедешь, посидели бы, ты бы мне рассказала, как у

тебя. Я бы не мешала. Я бы просто слушала, ты же знаешь, я умею слушать».

Сорок три секунды, и ни в одной из них она не пожаловалась. Ни на одиночество, ни на страх.

Она предложила испечь пирог.

Я положила телефон экраном вниз и отошла к окну.

За стеклом стояло серое. Листва висела неподвижно, как приклеенная.

Желудок сводило и не отпускало, и я сказала в стекло:

– Пирог она испекла бы. Три года не звонила. Зато пирог.

Голос прозвучал, я услышала себя, и на слове «пирог» меня срезало. Хвост фразы ушёл вниз. Так уходит дорожка, если дёрнуть фейдер посреди слова.

Вчера мой крик пропал целиком и сразу. Сегодня меня сначала пустили говорить и забрали на середине.

Я стояла у окна и считала.

Пятнадцать лет я слушаю время. Полсекунды я чувствую руками.

Я сказала:

– Раз.

Слово держалось секунду с небольшим и осело.

– Раз.

Меньше. Заметно меньше.

Я взяла телефон и включила диктофон, поднесла ко рту и сказала в него всё, что помнила из таблицы умножения на семь. Потом нажала стоп и посмотрела на дорожку.

Дорожка шла прямой линией от края до края. Ни одного всплеска.

Микрофон не записал ничего.

Я стёрла файл и положила телефон на стол экраном вниз.

\* \* \*

Вторая. Месяц и неделя. Минута двенадцать.

«Анечка, я тут в подвал ходила. Там за стеллажом коробка стоит, помнишь, ты на кассеты записывала всякое, когда тебе было десять? И в двенадцать. Я послушала немножко. Ты там песни поёшь и с кем-то разговариваешь, я не разобрала, с кем. Может, тебе надо? Я бы отправила, но почта тут не работает, ты знаешь. Может, приедешь и заберёшь. И заодно посидим, ты расскажешь, как у тебя на работе. Я лезть не буду. Мне просто послушать, как ты рассказываешь. У тебя голос делается другой, когда ты про свои частоты говоришь. Я ничего не понимаю. Слушать всё равно нравится. Ты в этом живёшь. Я хочу, чтобы ты жила, Анечка».

Минута двенадцать про кассеты, про почту и про мою работу. Подвал упомянут в первой фразе, вскользь, между делом, и страха в этой фразе нет ни на грамм.

Она ходила в подвал.

Лёша сказал: не ходи в подвал. Баба Нина сказала: там живёт тот, кто ест голоса. Мать ходила туда и рылась за стеллажом, и вернулась, и записала мне голосовое про кассеты.

У меня закружилась голова. Я взялась за край стола обеими руками и сидела так, пока не прошло.

«Она знала. Она всё это время знала и молчала».

Я сунула руку в карман и нащупала метроном. Не завела. Держала, пока пальцы не занемели.

Потом встала и пошла в сени.

Люк был справа от входной двери, под половиком. Я откинула половик ногой. Доски широкие, тёмные от времени, с утопленным чугунным кольцом заподлицо.

Мать спускалась туда. Не один раз. Она рылась за стеллажом, доставала коробку, слушала мои кассеты, потом поднималась и шла записывать мне голосовое.

Я присела на корточки и взялась за кольцо.

Чугун был холодный, холоднее пола, холоднее воздуха. Холод пошёл в ладонь и остановился в запястье.

Тянуть я не стала.

Вместо этого положила на доски всю руку, плашмя, как кладут на корпус, когда ловят наводку.

И поймала.

Ниже слышимого. Герц восемь или девять, на самой границе. Ухо такое уже не берёт. Тело берёт. Ровная нота без биений, без затуханий, без всякого признака мотора.

У инфразвука такой частоты нет источника в жилом доме. Ни насос, ни компрессор, ни ветер в трубе так не держат. Мотор гуляет. Ветер дышит. Это стояло, как стоит генератор на стенде, и держало свою частоту, и делало это давно.

Ладонь начала неметь.

Я убрала руку и вытерла её о джинсы, и запястье ныло ещё

с минуту.

Половик я вернула на место и придавила ногой по краям, чтобы лежал плотно.

«Не ходи в подвал. Я и не иду».

Пятка оставила на половике тёмный полукруг.

\* \* \*

Я решила заняться тем, зачем приехала.

Разобрать вещи. Закрывать счета. Найти документы, найти сберкнижку, найти договор на дом. Дело простое и с руками. Пока руки заняты, голова помалкивает.

Шкаф в её комнате был двустворчатый, фанерованный под орех, из покупаемых раз в жизни. Дверца пошла с длинным сухим скрипом.

Одежда висела плотно, плечо к плечу. Два пальто, три кофты, юбки, которые она не носила лет пятнадцать. Я провела рукой по рукавам.

Они ничем не пахли.

Одежда в шкафу всегда пахнет. Нафталином, духами, человеком, порошком, в крайнем случае пылью. Я сунула нос в воротник её синей кофты и втянула воздух.

Ничего. Как из новой упаковки.

Внизу, под юбками, стояла жестяная коробка из-под печенья, круглая, с оленями на крышке. Я вытащила её на кровать и открыла.

Паспорт. Полис. СНИЛС. Домовая книга в мягком переплёте, синяя, с чернильной записью шестьдесят третьего го-

да. Пачка квитанций, перетянутая аптечной резинкой. Сбережничка на её имя, последняя операция в двадцать втором.

Я разложила всё это на одеяле по стопкам и почувствовала себя почти нормально. Бумаги успокаивают. У бумаг есть порядок.

Под квитанциями лежали батарейки.

Мелкие, круглые, с чечевицу, в блистерах по шесть штук, с оранжевым ярлычком. Я взяла один блистер и повернула к свету.

Тип триста двенадцать. Воздушно-цинковые. Для слуховых аппаратов.

Я пересчитала. Двадцать две упаковки. Из них девять вскрыты, и в трёх пусто до конца.

Больше ста батареек.

Я сидела на её кровати с этим блистером в руке и перебирала в голове последние три года.

Мать говорила по телефону нормально. Никогда не переспрашивала. Никогда не просила говорить громче. И я ни разу в жизни не видела у неё ничего за ухом. На такие вещи я смотрю. У половины знакомых в цеху профессиональная потеря на верхах, и аппарат я замечаю раньше лица.

Я перерыла коробку до дна. Потом полки шкафа, потом ящик тумбочки, потом полку в коридоре.

Самого аппарата не было нигде.

Только батарейки, купленные впрок на годы вперёд, и половина из них уже потрачена.

Я сложила блистеры обратно, придавила квитанциями и закрыла крышку с оленями.

«Она слышала меня по телефону. Она всё слышала».

Руки у меня были холодные.

\* \* \*

Третья. Шесть дней назад. Девять секунд.

Я смотрела на эту полоску долго. Если не нажму сейчас, не нажму никогда, и буду до старости гадать, что она сказала за шесть дней до смерти.

Нажала.

«Анечка, я».

И тишина.

Девять секунд. Два слова и семь секунд её дыхания в микрофон.

Я прослушала ещё раз. Потом ещё.

На четвёртом разе я услышала, что она там делает. Она набирала воздух. Три раза набирала воздух, чтобы сказать, и три раза не сказала.

В этих семи секундах лежало всё, чего она не сказала за тридцать лет. Одно слово. Я знала это слово и знать не хотела.

Прости.

Она его не сказала. Не успела или не смогла. Или знала, что если скажет, я приеду, а она не хотела, чтобы я приезжала.

\* \* \*

Я прослушала эти девять секунд, наверное, раз двадцать, а потом сделала то, что делаю с любой записью, которая мне важна.

Открыла её в редакторе.

У меня в телефоне стоит нормальный редактор, я в нём правлю на выездах, и он работает без интернета, и ему всё равно, откуда файл.

Я перегнала голосовое из мессенджера и вывела на экран дорожку.

\* \* \*

Первые полторы секунды: «Анечка, я». Два коротких всплеска, между ними провал.

Дальше семь секунд дыхания. Три горба, три её попытки набрать воздух, и между ними низкий фон без движения.

Всё как я и слышала.

Я переключилась на спектр.

\* \* \*

Спектрограмма это картинка, где по горизонтали время, по вертикали частота, а яркость показывает, сколько там энергии.

Голос человека на ней выглядит как расчёска: полосы обертонов, ступеньками вверх, с провалами на паузах.

Её расчёска стояла где положено, от ста двадцати герц и выше.

А в самом низу картинки, под всей её речью, шла тонкая линия.

\* \* \*

Она не прерывалась.

Она шла все девять секунд, от первого кадра до последнего, не считаясь ни с её словами, ни с её паузами, ни с тем моментом, где она отняла телефон от лица.

Прямая. Как рельс.

Я поставила курсор и посмотрела частоту.

Тридцать четыре герца.

\* \* \*

Такого не бывает по трём причинам, и я перебрала все три, сидя на кухне мёртвой матери с телефоном в руках.

Сеть даёт наводку на пятидесяти. Это не пятьдесят.

Телефонный микрофон физически не берёт ниже семидесяти, ему нечем, там стоит фильтр в самом железе.

А мессенджер жмёт голос кодеком, который срезает всё под восьмидесятью, потому что для речи это мусор и его выбрасывают, чтобы экономить трафик.

\* \* \*

То есть этой линии не должно было существовать трижды.

Микрофон не мог её записать. Кодеком не мог её пропустить. Сеть не могла её туда положить.

Она была.

\* \* \*

Я открыла второе голосовое, месячной давности.

Та же линия.

Первое, двухмесячное, сорок три секунды.

Та же.

Тридцать четыре герца, под всем, что она говорила, во всех трёх файлах, записанных в разные месяцы и на разном расстоянии.

\* \* \*

Я сидела и смотрела на эту полосу внизу экрана.

Тогда я не поняла ничего и решила, что это артефакт сжатия или что у неё в кармане что-то гудело.

Я даже придумала объяснение: холодильник у соседей, трактор за деревней, ЛЭП.

В деревне ЛЭП была. В её доме электричества не было с двухтысячного года, но я про это ещё не знала.

\* \* \*

Я вернусь к этой линии через одиннадцать дней, в кладовке, с наушниками, прижатыми к скуле.

И тогда мне станет понятно, что она значит.

А пока я просто пометила её в блокноте одной строкой, потому что так меня учили: не понял, но записал.

«34 Гц во всех трёх. Микрофон не берёт. Проверить».

Я сказала вслух, в кухню:

– Прости меня тоже, мам.

Фразу срезало на «мам». Я успела услышать «прости меня» и половину «тоже».

Быстрее, чем пять минут назад.

Я замолчала и больше вслух не говорила.

\* \* \*

Голос пришёл через кость.

Не через воздух и не через телефон. Из-под коренных, из кости, вверх по скулам, к вискам. Я почувствовала его языком раньше, чем поняла.

Доченька.

Я стиснула зубы.

Мне холодно. Иди ко мне.

Вчера он держался с полминуты. Сегодня он не кончался.

Я сидела на её стуле, вцепившись в край стола, и слушала, как в моей собственной челюсти говорит мать. Ногти уже были сорваны со вчера, и я вжимала их в те же места, и от этого было больно правильно, по-настоящему.

Анечка. Ты же приехала. Я слышу, что ты приехала. Спустишься ко мне, тут недалеко.

Он знал, что я слушала голосовые.

Он знал, что я слышала произнесённое.

«Мне холодно» било в то, что я всю жизнь её грела: тапки, плед, чай, шапку надень. «Спустишься» било в три года, за которые я не приехала ни разу.

Я ненавидела этот голос. Ненавидела себя за то, что хочу ответить. Ненавидела мать за то, что она умерла и оставила меня с этим.

Потом перестала ненавидеть мать.

Потом начала опять.

Слёзы шли от давления. Я их не трогала, потому что для этого пришлось бы отпустить стол.

И тогда я услышала.

Не голос. Через воздух. Через кухню.

Тихий звук на самой границе, такой, что я не была уверена в нём три или четыре секунды. Он шёл из коридора, из её комнаты.

Щелчок. С паузой примерно в секунду. Потом ещё.

Я встала. Ноги держали плохо, и я пошла на звук, и линолеум лип к подошвам, и порезанная пятка отзывалась на каждый шаг.

По коридору. Мимо тумбочки с фотографией, которую я вчера положила лицом вниз.

Она лежала лицом вверх.

Я остановилась и посмотрела на неё, и мама на снимке смеялась, и мне было пять, и я сидела у неё на коленях.

Я не стала её переворачивать. Пошла дальше.

Дверь в её комнату была открыта, как я её и оставила.

На тумбочке стоял магнитофон.

Вчера тумбочка была пустая. Я это помню, потому что смотрела на круглый след в пыли и думала, что тут стояло.

Теперь на этом следу стоял он. Старая «Электроника», серая, с двумя катушками и лохматым шнуром, свёрнутым восьмёркой. Правая катушка крутилась. Плёнка наматывалась.

И на каждой секунде щёлкало.

Мать тридцать лет писала на этот магнитофон. Я знала его с детства, я его боялась трогать, я на нём училась слышать

разницу между двумя записями одного шума.

Я подошла и остановилась в полуметре.

Вблизи щелчок был громче и слышался яснее. Он шёл не от механики. Механика в этих аппаратах шуршит. Этот щёлкал изнутри плёнки, с одинаковой паузой, и пауза была короче секунды, около девятисот миллисекунд.

Я протянула руку к кнопке «стоп».

Палец лёг на пластик. Холодный.

Я не нажала.

Пока щёлкало, голос молчал.

\* \* \*

Я убрала палец и отошла на шаг.

Катушка крутилась. На левой намоталось уже прилично, на правой оставалось больше половины.

Я села на край кровати. Матрас просел, пружина скрипнула ржаво, и скрип я слышала.

И сделала то, чего делать не стоило.

Достала метроном, поставила его на тумбочку рядом с магнитофоном и завела колесико.

Щелчок метронома был тише плёночного и приходил чаще. Два щелчка пошли внахлёст. Они сближались, почти совпадали и снова расходились, и каждый раз, когда они сходились, у меня ныли зубы.

Биения. Обычная физика, разница частот.

Я знаю эту физику пятнадцать лет и всё равно сидела и слушала, как она меня выкручивает.

Метроном был мой. Мамин и мой. Я за него держалась.  
Голос пришёл через кость поверх обоих щелчков.

Доченька. Мне так холодно. Я тут. Я жду.

Она говорила мне это в детстве, когда я не спала и приходила к ней под одеяло. Я тут. Я жду тебя.

Я встала. Ноги не слушались две секунды.

Забрала метроном, вышла и закрыла за собой дверь.

Через дверь щелчок был слышен. Тише, глуше, с обрезанными верхами.

Я слышала его из коридора и знала, сколько там осталось плёнки.

\* \* \*

На кухне я открыла кран.

Вода пошла. Я наклонилась и подставила ухо почти к самой струе.

Голос смолк.

Я стояла в неудобной позе, согнувшись над мойкой, ухом в двадцати сантиметрах от воды, и вода гудела и била в эмаль, и в моей голове было пусто и хорошо.

Так продолжалось минут пять.

Потом струя дрогнула. Стала тоньше. Захлебнулась, плюнула воздухом и пошла с перебоями.

Я закрутила и открыла снова.

Вода дала несколько толчков и кончилась.

В трубе оседало и стихало ещё секунды три.

Потом стихло и это.

Голос вернулся сразу, без разгона, будто ждал за дверью.  
Анечка. Не молчи.

Я села на пол у мойки, спиной к тумбе, и обхватила колени.

И заметила, что не слышу себя.

Я дышала. Грудная клетка ходила, воздух шёл через нос, я чувствовала его горлом. Звука не было.

Вчера я слышала своё дыхание. Всю ночь слышала. Держалась за него на полу у двери.

Я задержала воздух и выдохнула резко, через рот, со всей силы.

Ничего.

Я сделала это ещё раз, ближе к собственной ладони, чтобы почувствовать поток. Он был. Тёплый, влажный.

Беззвучный.

Со вчерашнего вечера у меня забрали крик, потом хвосты слов, потом сами слова. Теперь дыхание.

Оно забирает по одному. Оно ждёт, пока я отзовусь, и пока я молчу, оно обходит меня по кругу и снимает по звуку за раз.

Я достала метроном и завела.

Первый щелчок пришёл. Тихий, латунный, на своём месте.

Я держала его в горсти, у самого уха, и считала.

За дверью в её комнате щёлкала плёнка, и на левой катушке её оставалось меньше половины, и когда она кончится, в

доме останется только голос.

## Глава 3

Утро среды я начала с того, что вышла на крыльцо и по-пробовала уехать.

Ключ повернулся, стартёр взял, мотор пошёл с полтычка. Я сидела в машине с работающим двигателем и слушала его ладонями через руль. Ушами уже не могла.

Мотор работал. Я могла развернуться и быть на трассе через двадцать минут.

Я заглушила и вышла.

Потом я долго себе это объясняла.

Документы не разобраны, счета не закрыты, тетради в кладовке я ещё не открывала.

Всё это правда, и всё это неважно.

Правда была в том, что мать умерла в этом доме одна, а до этого тридцать лет звонила мне раз в неделю и говорила, что ей тут хорошо, и я ни разу не спросила почему.

И теперь я приехала и услышала её голос в собственной челюсти.

Уехать я могла. Уехать значило не узнать.

\* \* \*

В Овсяники я поехала в одиннадцать.

Двенадцать километров грунтовки, потом кусок асфальта. Через четыре километра от поляны в машине появился звук. Не появился, конечно, а я снова стала его слышать: гравий

под днищем, свист в щели у стекла, работу мотора.

Я остановилась на обочине и посидела с открытым окном минуты три, слушая ветер в берёзах.

Ветер был. Птицы были. Верхних частот у меня не было, и потому птицы шли обрубленными, без свиста, одними серединами, как через плохой телефон.

Я не заплакала только потому, что за рулём неудобно.

\* \* \*

Деревня оказалась живая.

Сорок с чем-то дворов, асфальт по центральной, столбы с проводами, три трактора у забора. На пяточке у магазина стояли машины и мотоцикл с коляской, и мужики курили у крыльца.

Магазин был обычный сельский: «Продукты», железная дверь, звонок над ней, холодильник с мороженым у входа.

Когда я вошла, разговор внутри шёл.

Три женщины у прилавка и продавщица. Обсуждали кого-то, у кого сын вернулся.

Я взяла корзину и пошла вдоль полок, и слышала их плохо: женские голоса лежат высоко, у меня оттуда осталась половина. Я разбирала интонации и не разбирала слов.

Набрала консервов, хлеба, чаю, спичек три пачки, свечей все, что были, шесть штук.

Подошла к прилавку.

Продавщица посчитала и назвала сумму, и я попросила повторить, и она повторила громче, и я услышала.

– Вы извините, – сказала я. – У меня со слухом.

Она кивнула.

– С поляны? – спросила одна из женщин у меня за спиной.

\* \* \*

Разговор в магазине не прекратился.

Он просел.

Так проседает фон, когда в комнате выключают вентиляцию: вроде всё то же, и вроде стало меньше наполовину.

Я обернулась.

Три женщины смотрели на меня. Одна лет пятидесяти, две постарше. Смотрели вежливо и без выражения, и от этого отсутствия выражения мне стало неуютно.

– Оттуда, – сказала я. – Я Верина дочь.

– Аня, – сказала та, что спрашивала. – Мы знаем.

Пауза.

– Соболезнуем, – сказала она.

Продавщица положила мне сдачу и посмотрела в сторону.

\* \* \*

Я вышла с двумя пакетами.

Мужики у крыльца замолчали, когда я проходила мимо, и заговорили снова, когда я отошла на десять шагов.

Я это отчётливо слышала. Мужские голоса низкие, у меня они целые.

Я поставила пакеты в багажник и стояла у машины, и от обиды у меня жгло в горле, и я думала, что деревня есть деревня, что я тут чужая, что мать они, наверное, тоже сторо-

нились.

Потом я подняла глаза и увидела, что через дорогу ко мне идёт старуха.

\* \* \*

Она шла медленно и прямо, опираясь на палку и глядя мне в лицо все двадцать метров.

Маленькая, сухая, в платке, в тёплой кофте по июньской жаре.

Дошла и встала передо мной.

– Ты Верина, – сказала она.

Голос у неё был низкий, прокуренный, старушечий. Я слышала его целиком, и от этого мне сразу стало легче.

– Да.

– Я Гунько Мария Степановна. Мать твоя ко мне ходила. Двадцать девять лет.

Я не знала, что ответить, и сказала:

– Я не знала.

– Она много про кого не рассказывала.

Она стояла и смотрела на меня снизу вверх, и глаза у неё были ясные.

– Ты в дом вернёшься?

– Да. Мне вещи разобрать.

– Ну и разбирай, – сказала она. – Только слушай сюда, я один раз скажу.

\* \* \*

– Печку не топи.

Я подумала, что ослышалась.

– Простите?

– Печ-ку не то-пи, – сказала она по слогам, глядя мне в рот. – Ни печку, ни плитку. И костёр во дворе тоже. Свет вечером не жги. Мотор в машине заводи и сразу поезжай, во дворе с ним не сиди.

– Мария Степановна...

– И не аукай.

Я стояла у багажника с ключами в руке и не понимала, как на это отвечать взрослому человеку.

– Что значит не аукай?

– Не кричи. Не пой. Не зови никого. Если тебя оттуда позовут, ты не отзывайся.

– Кто позовёт?

Она пожевала губами.

– Мать, кто ж ещё.

\* \* \*

Я почувствовала, как у меня холодеют руки.

Не от страха ещё. От того, как буднично она это сказала, как говорят про погоду.

– Мария Степановна, а вы откуда...

– Оттуда, – сказала она. – У меня там брат.

Она рассказала мне это за четыре минуты, стоя на солнцепёке у моего багажника, и ни разу не сбилась.

Брат Пётр, объездчик. Поселили с семьёй в шестьдесят первом в дом на поляне. Ходил к ней первое время в Овся-

ники и жаловался, что в доме тихо.

— Он говорил: у меня, Маш, радио играет, а я его не слышу. Я, говорит, приёмник в руки беру, а он играет.

Я стояла и слушала.

— Я говорю, к врачу иди. А он говорит: у меня жена не слышит и дети не слышат. Мы, говорит, вчетвером не слышим одно и то же.

\* \* \*

— Он у меня в тот раз ночевал. Ночью встал и в сени вышел. Я слышу, он в сенях разговаривает.

Она посмотрела мне в глаза.

— Я утром спрашиваю: ты с кем говорил? А он мне: с мамой. А мать наша к тому году девять лет как лежала.

Пауза.

— Я его перекрестила и в дом больше не пустила. И вся моя вина в том, что не пустила. Он к себе пошёл, и через месяц его не стало.

\* \* \*

— А жена его?

— Жена ещё два года прожила там, с детьми. В шестьдесят четвёртом все трое. Искали три недели, лес прочесали. Ничего.

Я сглотнула.

— И вы всё это знали и никому...

— Кому? — сказала она.

И это было, наверное, самое честное слово за весь разгово-

вор.

Я стояла и перебирала в голове, кому.

Участковому, который за двадцать лет оформил четыре таких дела и не нашёл ни одного объяснения. В район, где эту бумагу подошьют. В газету. В интернет, где деревне двенадцать лет и нет никакого интернета.

Никому.

\* \* \*

Я спросила, ещё держась за ту версию, где это всё деревенское суеверие:

– Мария Степановна, а почему нельзя топить? Что от печки-то?

Она посмотрела на меня, как смотрят на человека, который спрашивает, почему нельзя совать руку в станок.

– Тёплое оно находит, – сказала она. – Оно ничего не видит и не слышит. Оно только тёплое находит. А на шум просыпается.

– На шум просыпается, а находит по теплу, – повторила я, и услышала, как это звучит из моего собственного рта, и мне стало неловко.

– Ты умная, – сказала она без всякой издёвки. – Ты запомнила. Хорошо.

\* \* \*

Я задала ещё один вопрос, из чистого упрямства.

– А если я дров наколю? Там колода стоит и топор. Это же шум.

Она даже не задумалась.

— Коли, — сказала она. — Только в такт коли. Оно ладного не слышит.

— Как это ладного?

— Ну ладного. Мерного. Часы вон идут, оно их не слышит. А ты уронишь чашку, и оно тут.

Я стояла и кивала.

Я решила, что это уже совсем бабкино: что мол нечистая любит беспорядок, а под ладную работу с молитвой не приходит.

Я это даже не запомнила толком.

\* \* \*

Через сутки я нашла то же самое в тетради, в четырёх строчках, с датами и с описанием опыта, и села на крыльце с этой тетрадью, и мне было очень стыдно.

\* \* \*

Она повернулась и пошла обратно через дорогу.

На середине остановилась и сказала, не оборачиваясь:

— Мать твоя двадцать девять лет не топила. Я ей валенки вязала.

И пошла дальше.

Я стояла у машины и смотрела ей вслед, и до меня доходило по частям.

Двадцать девять лет.

Не топила зимой. В Подмоскowie. В бревенчатом доме на поляне, где нет соседей, нет магазина и нет никого, кто за-

глянет и увидит, что человек живёт в холоде.

Валенки в доме. Спала одетой. Воду грела только на то, чтобы выпить, и до такой температуры, чтобы не обжечься.

Я вспомнила её руки на похоронах. Пальцы у неё были узловатые, суставы вывернутые, и я тогда подумала: артрит, возраст, деревня.

Двадцать девять зим без печки.

\* \* \*

На кладбище я поехала оттого, что не могла сразу сесть в машину.

Оно стояло на выезде из Овсяников, на бугре, за железной оградой, с калиткой на проволочной закрутке.

Могилу матери я нашла быстро. Свежая земля, ещё горбом, венок с ленточкой, деревянный крест с табличкой, которую я сама заказывала месяц назад по телефону из Москвы.

На холмике лежали цветы.

Полевые, перевязанные ниткой, свежие, положенные день или два назад.

\* \* \*

Я не привозила цветов.

Лёша не приезжал ни разу.

Я стояла и смотрела на этот пучок, перевязанный обыкновенной белой ниткой, и понимала, что кто-то в этой деревне поднялся, дошёл сюда и положил.

Через двадцать минут я узнаю, кто.

Слева от матери был дед.

Кравцов Иван Тимофеевич, 1926–1996, железная пирамидка со звездой, крашенная серебрянкой, оградка на две могилы.

Я стояла между ними и считала.

Она приехала к нему в девяносто третьем, похоронила его в девяносто шестом и осталась ещё на двадцать семь лет.

Место рядом с ним она держала все эти годы.

\* \* \*

Дальше по ряду шли Гунько.

Их было много: Овсяники деревня в сорок дворов, а фамилий в ней, наверное, восемь.

Я шла вдоль и читала, потому что уже не могла остановиться.

И на третьей могиле от края встала.

Это была плита без холмика.

Серый бетон, лежащий, покрытый лишайником, и на нём выбито три строчки.

«Гунько Анна Ивановна, 1932–1964.

Гунько Валентина Петровна, 1957–1964.

Гунько Николай Петрович, 1960–1964».

И ниже, мельче:

«Пропали без вести».

\* \* \*

Под этой плитой не было никого.

Я это поняла сразу, потому что там так и написано, и по-

тому что могила без холмика это не могила.

Кто-то в шестьдесят четвёртом году заказал бетон, выбил на нём три имени и положил на пустую землю, чтобы было куда ходить.

Женщина тридцати двух лет и двое детей, семи и четырёх.

Я стояла над этой плитой минут пять.

Обратно к калитке я шла и смотрела под ноги.

У самого выхода, справа, стояла ещё одна оградка, и в ней я увидела то, от чего у меня по-настоящему сжалось.

Одна могила и одна пустая половина.

На могиле: «Гунько Степан Матвеевич, 1901–1953». На пустой половине, у самой оградки, стояла лавочка, покрашенная в тот же серебристый цвет, и на лавочке лежал сложенный кусок клеёнки, чтобы не мокло.

Место было приготовлено давно и держалось в порядке.

\* \* \*

Я тогда решила, что это чья-то жена ждёт своей очереди.

Через две с половиной недели я поняла, что это была Мария Степановна, и что она сидела на этой лавочке шестьдесят с лишним лет рядом с отцом, у пустого места, которое так и осталось пустым. Оно ей и не понадобилось.

Она легла в другом месте, в четырёх слоях над братом.

Обратно я ехала и разговаривала вслух сама с собой, потому что иначе не выдержала бы.

– Так, – говорила я. – Старухе девяносто с чем-то. Брат пропал в шестьдесят втором, шестьдесят три года назад. Она

с этим живёт всю жизнь. Она построила себе систему, чтобы это как-то называлось.

Гравий шуршал под днищем.

– Дальше. У матери был какой-то дефект слуха, наследственный, вероятно. У меня, судя по всему, тот же. Люди с потерей слуха слышат фантомные звуки, это медицинский факт, это называется слуховые галлюцинации.

Я вцепилась в руль.

– И вчера я видела в стене шланг.

\* \* \*

На обратном пути я остановилась там, где кончаются птицы.

Я знала это место с понедельника. Четыре километра не доезжая поляны, на подъёме, где грунтовка выходит из ельника в редкий березняк.

До него я слышала лес. За ним не слышала.

Я вылезла из машины в половине третьего дня, при полном солнце, и пошла искать границу пешком.

Я нашла её за десять минут, и она была узкая.

Я шла по обочине и слушала, и на каком-то шаге верхняя половина леса выключилась.

Я отступила на два шага назад: есть. Вперёд на два: нет.

Неопределённость уложилась в полтора метра.

Полтора метра на четыре километра леса. Это не туман и не рассеяние, это край.

\* \* \*

Я нашла на обочине палку и воткнула её в эту точку.

Потом пошла вдоль, забирая в лес, и через каждые двадцать шагов проверяла себя и поправлялась.

Через сорок минут я вышла к дороге снова.

Метрах в двухстах от палки, с другой стороны.

Это была окружность.

Я стояла посреди грунтовки, вспотевшая, с исцарапанными руками, и рисовала себе в голове круг, который только что обошла по дуге.

Он был не круглый в чертёжном смысле. Он выпирал и вдавливался, как выпирает пятно на потолке.

Но он замыкался, и центр у него был.

В центре стоял дом моей матери.

\* \* \*

Я вернулась к палке и постояла у неё.

С той стороны, где птицы, было нормальное июньское лето: гудят слепни, стрекочет что-то в траве, наверху дятел, ветер идёт по верхушкам с шелестом.

С той стороны, где птиц нет, шёл только ветер. Низкий, ватный, будто из-под подушки.

Я слышала обе стороны одновременно, стоя одной ногой в каждой.

И тут я решила проверить сама.

Я отошла на десять шагов назад, в живую сторону, и топнула.

Кроссовка по сухой земле даёт короткий сухой удар. Он

у меня был.

Я хлопнула в ладоши. Был.

Я взяла с земли два камня и стукнула друг о друга. Был, звонкий, я его слышала обрубленным сверху, но слышала.

Потом перешла черту и сделала то же самое.

\* \* \*

Топнула.

Ничего.

Я подумала, что дело в почве, и топнула ещё три раза, сильно, всей стопой, и почувствовала удар в колене и не услышала его.

Хлопнула в ладоши, у самого лица. Ладони встретились, я почувствовала боль в правой.

Тишина.

Стукнула камнями. Я видела, как они сходятся. Я видела, как с них летит крошка.

Тишина.

Я стояла на границе с двумя камнями в руках и стучала ими то по одну сторону палки, то по другую.

Есть. Нет. Есть. Нет.

Я проделала это, наверное, раз двадцать.

Расстояние между «есть» и «нет» было шага полтора.

\* \* \*

Дальше я сделала глупость, и хорошо, что она обошлась.

Я прошла в мёртвую сторону метров тридцать, чтобы посмотреть, что там.

Обыкновенный лес.

Живой, зелёный, с подростом, с папоротником, с солнечными пятнами на земле.

Только он был прибранный.

Я не сразу поняла, что меня смущает, и минуты две ходила и смотрела под ноги.

Потом дошло.

Ни одного муравейника. Ни паутины между веток, ни жука на стволе, ни мухи в воздухе, ни единого птичьего помёта на прошлогодних листьях.

Подстилка лежала нетронутая, слоями, как стелют постель.

За тридцать метров я не увидела ни одного живого существа мельче себя.

\* \* \*

Я побежала обратно к палке.

Я это помню отчётливо: я побежала, и мне было очень важно услышать собственные шаги, и я ждала того момента, когда они включатся.

Они включились.

Я вылетела в живую сторону, села на обочину и просидела там минут пятнадцать, слушая слепней и радуясь им, как радуются людям.

Палку я оставила.

Она стояла там до конца, и я потом проходила мимо неё ещё дважды, и оба раза граница была на другом месте.

\* \* \*

В пятницу она сдвинулась в живую сторону метров на шесть.

В следующий четверг я палку уже не нашла. Она осталась внутри.

\* \* \*

Дома я разобрала пакеты и стала искать, на чём вскипятить воду.

Электричества в доме не было.

Я это выяснила в первый же вечер: щиток на стене, автоматы выключены, и от щитка к столбу не идёт ничего, потому что провода со столба сняты, и на изоляторах висят только огрызки.

Я тогда решила, что мать не платила и её отрезали.

В её тетрадах потом стояло: «12.11.2000. Сняли провод. Сама попросила».

Плитка стояла в сенях, под мешковиной, со шнуром, обрезанным у самого корпуса.

Я вытащила её, посмотрела на этот обрезанный шнур и поставила обратно.

Оставалась печка.

\* \* \*

Печку я растопила в семь вечера.

Дрова лежали в сенях, сухие, берёзовые, мать их не жгла и они лежали лет пятнадцать. Заслонку я нашла по памяти, тягу открыла, растопку сделала из газеты.

Огонь пошёл сразу.

Я сидела перед открытой дверцей на корточках, и на лицо шёл жар, и это было первое живое ощущение за трое суток.

Дом стал тёплым к девяти.

К десяти я стянула куртку впервые с понедельника.

Голос пришёл в одиннадцать сорок и был другой.

Не тише, не громче. Ближе.

Все предыдущие разы он приходил из-под коренных и шёл вверх, будто просачивался. Сейчас он лежал сразу везде: в челюсти, в висках, в затылке, в ключицах.

Доченька. Как хорошо-то у тебя.

Я сидела на кухне у тёплой печки, с чашкой в руках, в одной футболке.

Как хорошо, тепло. Я тридцать лет так не сидела.

\* \* \*

Я не ответила.

Я поставила чашку, встала и пошла закрывать заслонку, и рука у меня не попадала с первого раза.

Ты не бойся. Ты сиди. Я просто рядом посижу.

Заслонка пошла. Тяга кончилась.

Я открыла обе форточки и входную дверь в сени, и стояла в проёме, и гнала из дома тепло полотенцем, как гонят дым.

Печка отдавала часа три.

Из кухни в коридор в ту ночь вышло семь отростков.

Я считала. Они выходили из-под плинтуса по одному, каждый минут через десять, и ложились по полу веером к

тому месту, где стояла печь.

Не ко мне.

К печке.

Я стояла в сенях, в куртке, на сквозняке, и смотрела на них через открытую дверь, и они лежали на тёплом полу, и ни один не двинулся в мою сторону. Я стояла на сквозняке и была холоднее всего в доме.

К четырём утра печь остыла.

К пяти они ушли.

\* \* \*

Утром я нашла на полу кухни, перед печной дверцей, тёмное пятно в метр диаметром.

Линолеум под ним был чистый, без пыли, вылизанный до рисунка.

Я стояла над этим пятном и вспоминала, что тут вчера было.

Тут я сидела на корточках перед открытым огнём.

Печку я всё-таки проверила.

Подошла и положила ладонь на побелённый бок.

Кирпич был комнатной температуры.

Русская печь после нормальной топки держит тепло шестнадцать часов, это знает всякий, кто хоть раз в такой избе зимовал. Она отдаёт всю ночь и к обеду ещё тёплая.

Эта остыла за четыре часа.

\* \* \*

Я открыла дверцу и посмотрела внутрь.

Угли лежали в поду серой горкой.

Я разгребла их кочергой и запустила туда руку, потому что мне надо было знать наверняка.

Зола была холодная насквозь, до самого низа, и в ней не осталось ни одной искры.

Берёзовые угли под слоем золы держат жар до полудня следующего дня.

Эти были как из вчерашнего костра, залитого дождём.

Я села на пол в куртке, в холодном доме, и записала на полях старой газеты первую строчку своим почерком:

«Не топить. Не греться. Проверено».

А ниже, подумав, дописала:

«Она сказала правду. Значит, и остальное правда».